

ской и европейской литературы. Этим и обусловлены автобиографические мотивы его критической прозы и частые признания в сочувствии автора общей идее.

Итак, личное, непосредственное участие Григорьева в литературном процессе придавало особую чуткость и искренность его критическим замечаниям. Но мы можем добавить, что сама жизнь Григорьева (а мы видели, что это была жизнь-искусство) имела структурно-организационное значение для некоторых основных глав его критики.

Рядом с определением эстетических и методологических принципов органической критики явилась в зрелые годы и сложная модель литературного и исторического развития России и, в перспективе, целой Европы, заслуживающая глубокого внимания. В эстетической системе А. Григорьева важную роль всегда играл историзм — взгляд на искусство как на органический продукт жизни, но жизни определенного народа в определенный момент его истории, и стремление обнаружить отношение между разными областями мышления, связывая их в единое целое, но не приносящая особенное значение каждой из них.

Решительный импульс к систематизации своих исторических воззрений Григорьев получил во второй половине 50-х годов — в силу необходимости определить собственную идеологическую позицию после распада «молодой редакции» «Москвитянина», в пору ожесточенных журнальных схваток предреформенного периода. В «Кратком послужном списке на память моим старым и новым друзьям» [6, с. 306] Григорьев писал, что основные статьи, появившиеся в 1859 г. в «Русском слове» («Взгляд на историю России, соч. С. Соловьева», («Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», «И. С. Тургенев и его деятельность по поводу романа: „Дворянское гнездо“»), являлись непосредственным плодом размышлений «итальянского» периода 1857—1858 гг. Многочисленные письма, написанные в то же время к друзьям и единомышленникам, позволяют проследить во всех его фазах напряженный умственный процесс, в котором критик переосмысливал свои взгляды на русскую народность, ее значение и будущее.

Особого внимания заслуживает тесное сплетение частных, сугубо автобиографических, и общенародных, порой универсальных побуждений. Об одной и той же «книжице» — «К друзьям издавека», где он вначале записывал свои заветные мысли, Григорьев говорил то как об опыте «анатомии над собою и над другими» [6, с. 170], то как «о философских размышлениях о русском начале» [6, с. 221] или «о непосредственном романтизме» [6, с. 171], исходными и заключительными точками которых являлись «море и Пушкин» [6, с. 216]. И действительно, критика одностороннего представления о русской душе как о носительнице одного лишь общинного начала и пассивных добродетелей и защита ее оригинальности были тесно связаны с неистовой жизнью в непосредственном контакте с народом в эпоху «молодой редакции» «Москвитянина». Саму беспорядочность этой жизни Григорьев истолковывал в духе Шеллинга как «вакханалии нового, идущего Бога» [6, с. 183—184], новой эры в истории человечества.

Из этих парадоксальных мыслей, то пророчески вдохновенных, то проникнутых глубоким отчаянием, Григорьев извлек в статьях 1859—1860 гг. достаточно точную и убедительную схему духовного развития современной России. Она оправдывала и узаконивала отказ как от славянофильской утопии, так и от реформ либерального или социалистического толка.

Начиная с середины XVIII в. — момента прочного установления связей с западной Европой, проникновение в глубь России новых культурных моделей — поднимало вопрос о русской народной сущности и положило начало процессу самопознания и самоопределения. По мнению Григорьева, направление и результаты такого процесса явно указывали на то,